НАДЕЖДА СОКОЛОВА



ЦВЕТУЩЕЕ ПОМЕСТЬЕ МАДАМ ПОПАДАНКИ

Надежда Соколова

Цветущее поместье мадам попаданки

https://litres.ru/74702132
SelfPub; 2026

Аннотация

Я - попаданка в магический мир, живу в полуразрушенной усадьбе вместе со слугами. И все, что у меня есть, - это яблочный сад перед домом, заросший и почти непригодный для восстановления. Почти, я сказала? Что ж, посмотрим, что тут можно сделать. Ведь я, попаданка, не привыкла сдаваться.

Содержание

Глава 1 4
Глава 2 32
Глава 3 43
Глава 4 57
Конец ознакомительного фрагмента. 58

Надежда Соколова
Цветущее поместье мадам попаданки

Глава 1

Я сидела у печки, в старом кресле, которое Бертран починил ещё осенью, и смотрела в окно. Снег шёл третий день — тихо, ровно, без ветра, — и двор уже был завален по колено, а дорога к тракту исчезла совсем, растворилась в белом поле, слилась с белым небом. За окном не было видно ни забора, ни сарая, ни курятника — только белое, мягкое, густое, и в этом белом угадывались смутные силуэты: крыша флигеля, труба пристройки, верхушка старой яблони. Снег ложился на стекло пушистыми хлопьями, прилипал, сползал, оставляя мокрые дорожки, и я видела, как за окном медленно, беззвучно растут сугробы — они поднимались вдоль стены дома, наметались у крыльца, заваливали поленницу, и мне было тепло от одного взгляда на это белое спокойствие. В доме было тепло. Печка топилась с утра, и от неё шло ровное, живое тепло, которое расходилось по комнате, по стенам, по половицам. Я слышала, как потрескивают дрова, как гудит огонь в трубе, как где-то в глубине дома, в кладовой,

тихо скребётся мышь — и этот звук не раздражал, а успокаивал, потому что он был частью дома, частью жизни, частью того, что я построила. Я держала в руках глиняную чашку с горячим чаем — тёмным, с травами Ирмы, с ложкой мёда, — и чувствовала, как тепло от чашки переходит в пальцы, в ладони, в грудь. Пахло дымом, воском, сушёными травами, яблоками. Пахло домом. И ещё пахло хлебом — тем самым, который пекли утром в большой печи, с хрустящей коркой, с мягким, тёплым мякишем, и я знала, что там, на кухне, он лежит под полотенцем, и его можно взять, отломить, намазать маслом, и от этого знания становилось ещё теплее.

Я думала о том, что удалось сделать. Не за год — за год я успела больше, чем за всю прежнюю жизнь. Я вспомнила себя на лестнице в подъезде — тридцать семь лет, офисный клерк, одинокая женщина в панельной девятиэтажке, без семьи, без дома, без будущего. Я вспомнила, как упала, как открыла глаза в чужом доме, как Марта сказала: «Хозяйка. Больше некому». Я вспомнила, как стояла в саду с топориком и ведром, не зная, выживу ли. Как лечила деревья, кормила землю, разбрасывала прикормку, ставила забор, собирала урожай. Как принимала людей — Сальму, Ивара и его сестёр, волков, эльфиек, поварих, Лису и Миру. Как платила налог, собирала оброк, продавала яблоки, шарлотки, сидр, мармелад. Как строила коровник, курятник, сеновал, свинарник, кузню, флигель. Как покупала скот, мебель, бельё, посуду. Как учила их делать шарлотку, штрудель, пастилу,

фигурный мармелад, сидр. Как держала двор. И я вспоминала не сухие списки дел, а лица, руки, голоса.

Я помнила, как уставала до боли в спине, до дрожи в руках, до слёз — и как утром вставала и шла снова, потому что знала: если я не пойду, никто не пойдёт. И вот теперь я сидела в кресле, у печки, с чашкой чая, и снег шёл за окном, и было тихо, и я чувствовала, как во мне поднимается что-то большое, тёплое, похожее на благодарность — к себе, к ним, к этой земле, которая сначала не хотела меня принимать, а потом приняла.

Я думала о том, что теперь у меня есть. Дом, который стоит. Сад, который спит и ждёт весны. Земля, которая кормит. Деревни, которые платят. Скот, который растёт. Кладовые, которые полны. Погреб, в котором зреет вино. Флигель, который ждёт гостей. Двадцать человек, которые стали семьёй. Волки, эльфы, гномы, оборотни, люди. Все — разные. Все — чужие когда-то. Все — свои. И я думала: вот оно. То, ради чего мы работали. Не просто выживание. Не просто еда. А вот это — когда ты сидишь у печки, смотришь на снег, держишь чашку с чаем, и знаешь: за твоей спиной — дом. Тёплый. Полный. Живой. И там ждут. Двадцать человек. И чай. И хлеб. И разговоры. И жизнь. Я думала о том, как они ходят по этому дому — тихо, бережно, каждый знает своё место. Как утром кто-то первый растапливает печь, и я слышу, как звякает заслонка. Как пахнет кашей и молоком. Как Тирра, маленькая, бегает по коридору, и её шаги звучат как дождь

по крыше. Как вечером все собираются в большой комнате, и кто-то рассказывает, и кто-то слушает, и огонь в печи гудит, и тени ходят по стенам, и я смотрю на них — на всех — и думаю: это моё. Не потому, что я купила или построила. А потому, что я вложила в это себя. Свои руки, свою спину, свой страх, свою надежду. И они ответили тем же. И теперь между нами — не долг, не расчёт, а что-то другое. Что-то, что не называется словом, но живёт в доме, в стенах, в воздухе, в запахе хлеба и дыма.

Но я думала и о том, что предстоит сделать. Весной — снова сад. Обрезать старые яблони, посадить новые, рыхлить, подкармливать, лечить. Снова огород. Копать, сеять, полоть, поливать. Снова стройка. Козлятник. Свинарник — расширить. Может, новый дом — если людей станет больше. Может, школа — для Тирры и других детей, которые родятся. Может, кузня — расширить. Может, мельница — чтобы молоть зерно самим. Дорога — укрепить, чтобы не размывало. Колодец — углубить. Крыша — перекрыть, если понадобится. Фундамент — укрепить. Мало ли что. И я думала об этом не со страхом, не с усталостью, а с каким-то тихим, ровным предвкушением. Как будто весна — это не работа, а встреча. С землёй, с деревьями, с собой. Я представляла, как выйду в сад, когда снег сойдёт и земля станет чёрной и влажной, как воткну лопату и почувствую, как она входит в землю — легко, с хрустом, — и как запахнет землёй, сырой и живой. Как обрежу старые ветки, и дерево вздохнёт, и вес-

ной даст новые побеги. Как посажу новые яблони — маленькие, тонкие, с корнями, завёрнутыми в мешковину, — и буду смотреть на них и думать: это на десять лет. Это для тех, кто придёт после. Это не для меня одной. И от этой мысли становилось не тяжело, а светло.

Я думала о вине. О бочках, которые стоят в погребе. О дрожжах, которые работают. О том, что весной вино будет готово. Что Готфрид приедет. Попробует. Купит. Продаст. При дворе. В столице. И тогда мы станем богатыми. По-настоящему. И тогда мы сможем больше. Больше земли. Больше скота. Больше людей. Больше домов. Больше деревень. Больше всего. Я представляла, как Готфрид стоит в погребе, держит глиняную чашку, нюхает, прищуривается, делает глоток — и молчит. А потом кивает. И это будет значить больше, чем любые слова. Я представляла, как вино уезжает — в бочках, на телегах, по тракту, который мы укрепим, — и как оно возвращается — деньгами, товарами, новыми людьми, новыми возможностями. И я думала: а что потом? Когда мы станем богатыми? Что мы будем делать? И ответ был простой: то же самое. Только больше. Больше садов, больше скота, больше домов, больше людей. Больше тепла. Больше хлеба. Больше жизни. Потому что дело не в богатстве. Дело в том, чтобы дом рос. Чтобы он становился больше, шире, теплее. Чтобы в нём было место для всех, кто придёт. И я знала, что мы справимся. Потому что мы уже справились с самым трудным — с началом. С тем, чтобы пове-

рить, что это возможно. С тем, чтобы встать утром и пойти в сад. С тем, чтобы принять первого человека и сказать: «Оставайся». А всё остальное — это просто работа. Долгая, тяжёлая, но простая. И я сидела у печки, смотрела на снег, держала чашку с чаем, и знала: весной будет много дел. Но сейчас — зима. И сейчас — тихо. И это тоже часть дома. Часть жизни. Часть меня.

Я думала о графах. О Мортимере фон Штерне, который приезжал перед снегом с двумя сыновьями. Я вспомнила его — высокого, седого, с прямой спиной и глазами, которые смотрели не на меня, а сквозь меня, будто я была не женщиной, а полем, которое можно купить, домом, который можно оценить, выгодой, которую можно просчитать. Я вспомнила, как он ходил по двору, как трогал забор, как заглядывал в курятник, как считал — не вслух, но я видела, как шевелятся его губы, как он складывает в уме цифры. Я вспомнила его сыновей — один постарше, серьёзный, молчаливый, с такими же прямыми плечами, второй — младше, светловолосый, с любопытным взглядом, который задержался на Тирре, на яблонях, на дымящейся трубе кузни. Он вернётся весной. С бумагами. С предложениями. С сыновьями. Он хочет союза. Он хочет женить одного из них на мне. Я не знала, хочу ли я этого. Я не знала, нужен ли мне муж. Я не знала, нужен ли мне кто-то вообще. Но я знала: я не отдам ничего. Ни земли. Ни дома. Ни людей. Ни свободы. Если он предложит союз — я выслушаю. Если он предложит взять — я откажу. Потому

что я — хозяйка. Настоящая. И я не клетка. Ни для кого. Я вспомнила, как он смотрел на мой сад — оценивающе, как на товар. Как он сказал: «У вас тут... необычно». И в этом «необычно» было столько всего — и удивление, и недоверие, и что-то похожее на уважение, которого он сам не ожидал. Я вспомнила, как он уезжал — сани, лошади, пар изо рта, — и как я стояла на крыльце и смотрела вслед, и думала: он вернётся. Они всегда возвращаются, когда видят, что можно взять. Но я не отдам. Я слишком много вложила в эту землю, в эти стены, в этих людей. Я слишком много ночей не спала, слишком много раз падала и вставала. И я не собиралась отдавать это никому — ни за бумаги, ни за титул, ни за красивые слова. Я думала: если он предложит союз — я выслушаю. Может быть, это будет честно. Может быть, это будет полезно. Может быть, это будет — для Тирры, для будущего. Но я не стану женой. Я останусь хозяйкой. И если он этого не поймёт — тем хуже для него.

Я думала о Сальме. О том, как она изменилась. Как из тени отца превратилась в хозяйку. Я вспомнила, как она пришла — тихая, испуганная, с опущенными глазами, с руками, которые не знали, куда деться. Как она боялась сказать слово, боялась занять место, боялась дышать слишком громко. И как постепенно — день за днём, неделя за неделей — она распрямилась. Как начала читать книги — сначала робко, потом жадно, потом с наслаждением. Как научилась вести счета — аккуратно, точно, с той тщательностью, кото-

рая выдаёт ум, привыкший к дисциплине. Как держит этикет — не как клетку, а как инструмент, как язык, на котором можно говорить с теми, кто приходит. Как надела тёмно-зелёное платье и стала — собой. Я вспомнила, как она стоит у окна, с книгой в руках, и свет падает на её лицо, и в этом свете нет тени — только она, настоящая. Я думала о том, что она — моя правая рука. Что без неё я бы не справилась. Что она не просто дочь барона. Она — Сальма. Женщина, которая нашла себя. И я думала: может быть, ей тоже нужен кто-то. Может быть, она тоже хочет — семью. Может быть, весной, когда приедут графы, ей найдётся пара. Молодой. Неглупый. Незлой. Кто-то, кто увидит в ней не тень, а её саму. Кто-то, кто не будет смотреть сквозь неё, как Мортимер смотрел сквозь меня. Кто-то, кто скажет: «Вы — Сальма. И этого достаточно». Я не знала, будет ли такой. Но я хотела, чтобы был. Потому что она заслужила. Потому что она — своя. И я думала: если такой найдётся — я не стану её держать. Я отпущу. Потому что дом — это не клетка. Дом — это место, откуда можно уйти. И куда можно вернуться.

Я думала о Тирре. О том, как она выросла. Как перестала дрожать. Я вспомнила, как она пришла — маленькая, худая, с глазами, в которых было столько страха, что я боялась смотреть в них слишком долго. Как она пряталась за Сальму, за Миру, за дверь. Как молчала. Как ела так, будто боялась, что отнимут. И как постепенно — тепло, хлеб, молоко, смех, — она начала оттаивать. Как начала смеяться — сна-

чала тихо, потом громче, потом так, что её смех заполнял весь дом. Как прыгает вокруг стола, как помогает на кухне, как учится читать — водя пальцем по строчкам, шевеля губами, хмурясь и улыбаясь. Как ловит снежинки на ладонь — и смотрит, как они тают, и смеётся. Как бегает по коридору, и её шаги звучат как дождь по крыше. Я думала: она — наше будущее. Она — то, что останется, когда нас не станет. Она — то, ради чего мы работали. И я хотела, чтобы у неё было — всё. Дом. Сад. Земля. Люди. Знание. Книги. Шарлотка. Мармелад. Сидр. Всё, что мы смогли сделать. Всё, что мы сможем сделать. Всё — для неё. Я хотела, чтобы она выросла и не знала, что такое страх. Чтобы она смотрела на снег и видела не холод, а красоту. Чтобы она держала в руках чашку с чаем и чувствовала не голод, а тепло. Чтобы она знала: за её спиной — дом. И там ждут. Всегда. И я думала: если я смогу дать ей это — значит, всё было не зря. Значит, мы не просто выжили. Мы — живём.

Я думала о Марте. О том, как она считает каждую копейку, каждую ложку, каждый день. Как она ворчит, но делает. Как она не жалуется, не плачет, не сдаётся. Я вспомнила, как она встретила меня в первый день — с недоверием, с вопросом в глазах, с руками, сложенными на груди. И как потом — постепенно — она начала доверять. Как начала называть меня хозяйкой — не по обязанности, а по праву. Как она стоит у печи, с ложкой в руке, и ворчит: «Опять эти эльфийки не закрыли крынку». И как в этом ворчании — забота.

Настоящая. Она — капитан. Она — стена. Она — мать. Не по крови. По выбору. По жизни. Я вспомнила, как она сидела у постели Тирры, когда та болела — всю ночь, не смыкая глаз. Как она штопала рубахи, чинила полы, чистила котлы. Как она знает, где что лежит, кто что любит, кому что нужно. Она — та, на кого можно опереться. Та, кто не подведёт. И я думала: без неё дом был бы не домом, а просто строением. Она вдохнула в него жизнь. Своим ворчанием, своими руками, своим сердцем. И я была ей благодарна. Больше, чем могла сказать.

Я думала о Гвен. О Бертране. О волках. Об Ирме. Об Иваре. Об Астрид и Сигрид. О Фелине, Мариэль и Тирре. О Хельге, Брите, Торе, Инге и Сигне. О Лисе и Мире. О каждом. О всех. Я вспоминала их лица, их руки, их голоса. Гвен — с её тёмными волосами и острым взглядом, которая пришла из леса и осталась. Бертран — с его молчаливой силой, с руками, которые чинят всё, что сломано. Ирма — с её травами, с её морщинами, с её тихим знанием. Ивар — с его молчанием, которое было громче слов. Астрид и Сигрид — с их смехом, с их песнями, с их лёгкими шагами. Фелина, Мариэль — с их эльфийской грацией, с их голосами, чистыми, как вода. Хельга, Брита, Тора, Инга, Сигне — с их руками, которые доят, стряпают, шьют, стирают, держат дом. Лиса и Мира — с их ссорами, с их примирениями, с их противнями и запахом шарлотки. Я думала: это — моя семья. Не по крови. По выбору. По жизни. Они пришли — кто голодным, кто

замёрзшим, кто испуганным. И остались. Потому что здесь было тепло. Потому что здесь был хлеб. Потому что здесь их ждали. И я думала: а ведь я тоже пришла. Когда-то. В чужой дом. В чужую жизнь. И осталась. Потому что здесь было — моё. Потому что я нашла себя. И я хотела, чтобы они тоже нашли. И они нашли. Каждый — своё. И теперь мы — вместе. За одним столом. У одной печки. В одном доме. И это было — счастье. Не громкое. Не яркое. А тихое. Ровное. Как снег за окном.

Я смотрела в окно. Снег шёл. Тихий. Ровный. Белый. Он ложился на стекло, на крышу, на ветки яблонь. Он заметал дорогу, двор, забор. Он делал мир — мягким. Тихим. Целым. Я держала чашку с чаем. Тёплую. Глиняную. Свою. Я чувствовала, как тепло от неё переходит в пальцы, в ладони, в грудь. Я слышала, как потрескивают дрова, как гудит огонь, как где-то в глубине дома тихо скребётся мышь, как Тирра смеётся на кухне, как Марта ворчит, как Сальма перелистывает страницу. И я думала: вот оно. Счастье. Простое. Настоящее. В чашке чая. В тепле печки. В снеге за окном. В людях за спиной. В доме. В жизни. Я не знала, что будет весной. Может быть, графы. Может быть, бумаги. Может быть, предложения. Может быть, отказы. Может быть, новые люди. Может быть, новые дома. Может быть, новые заботы. Но я знала: что бы ни случилось — я справлюсь. Потому что я — хозяйка. Настоящая. Потому что за моей спиной — дом. Тёплый. Полный. Живой. И там ждут. Двадцать человек. И

чай. И хлеб. И разговоры. И жизнь. И я улыбнулась — тихо, про себя, — и сделала ещё один глоток. Чай был горячий. С мёдом. С травами Ирмы. И пах домом.

Сальма вошла тихо, как всегда, — я даже не сразу услышала её шаги за шумом печки и за воем ветра в трубе. Ветер усилился к вечеру, гудел неровно, то затихая, то налетая с новой силой, и в этом вое было что-то тревожное, но не страшное — скорее напоминание о том, что за стенами дома зима, настоящая, злая, и что нам повезло оказаться по эту сторону тепла. Она остановилась в дверях, держа в руках книгу — ту самую, из сундука, в кожаном переплёте, с пожелтевшими страницами. Я посмотрела на неё и поняла: что-то случилось. Не плохое. Но важное. У неё было такое лицо, какое бывает у человека, который нашёл что-то, чего не искал. Глаза у неё горели не от возбуждения, а от чего-то более глубокого — от узнавания, от чувства, что она прикоснулась к чему-то большому, что было здесь до нас, что ждало, пока его найдут. Она стояла в дверях, и свет от печки падал на её лицо, на книгу, на руки, и я видела, как она дышит — ровно, глубоко, будто боялась спугнуть то, что держала в руках.

Она подошла, села на скамью рядом со мной, положила книгу на колени и открыла её на странице, заложенной лоскутком ткани. Лоскуток был старый, выцветший, когда-то, наверное, синий, а теперь — серо-голубой, с поблёкшей каймой. Она провела по нему пальцем, будто проверяя, настоя-

щий ли он, будто всё ещё не верила, что держит в руках не просто книгу, а чью-то память. Потом подняла глаза и произнесла:

— Я читала ночью. Не могла уснуть. И нашла вот это.

Я спросила, что там. Она помолчала, собираясь с мыслями. Потом заговорила — ровно, не спеша, как читают вслух что-то важное. Я слушала её голос и слышала, как он меняется — становится глубже, старше, будто она читала не текст, а чью-то жизнь, чью-то судьбу, чью-то мечту, которая не умерла, а просто ждала.

— Это хроника. Старая. Очень старая. Ей лет двести, может, больше. Тут написано про этот край. Про этот холм. Про эту усадьбу. Раньше — очень давно — здесь было большое поместье. Не такое, как сейчас. Намного больше. Не один дом, а целый комплекс. Главный дом, флигели, хозяйственные постройки, конюшни, кузни, амбары. И сад. Огромный сад. Не только яблони. Тут перечислено: яблони, груши, сливы, вишни, черешни. Орехи. Ягодные кусты — малина, смородина, крыжовник. И ещё что-то, чего я не знаю. Какие-то деревья с юга. Персики. Абрикосы. Виноград. Тут написано: «Сад, равного которому не было в округе».

Она замолчала, и я услышала, как в печке треснуло полено, как ветер на мгновение затих, как где-то в глубине дома скрипнула половица. Я смотрела на страницу — на буквы, выцветшие, но ещё различимые, на рисунки на полях — маленькие, аккуратные, сделанные чьей-то терпеливой рукой.

Дерево с раскидистой кроной. Куст с ягодами. Дом — не такой, как наш, а больше, с двумя крыльями, с высокой трубой, с окнами, которые смотрели на юг. И я чувствовала, как что-то во мне отзывается. Не жадность. Не зависть. А что-то другое. Что-то похожее на узнавание. Как будто я всегда знала, что здесь было больше. Что сад — не просто яблони. Что дом — не просто дом. Что земля — не просто земля. Я вспомнила, как в первый год, когда я только пришла сюда, я стояла в саду и чувствовала под ногами что-то ещё — не только корни старых яблонь, а что-то глубже, шире, старше. Я тогда не поняла. А теперь — поняла. Это была память земли. Память о том, что здесь росло, цвело, плодоносило. Память о людях, которые здесь жили, работали, любили, строили. И эта память не умерла. Она просто спала. Под снегом, под травой, под нашими ногами.

Я слушала её и чувствовала, как во мне поднимается что-то большое, тёплое, похожее на надежду. Я представляла этот сад — не тот, что сейчас, а тот, что был. Огромный, с рядами деревьев, с дорожками, с кустами, которые гнутся под тяжестью ягод. Я представляла, как он цветёт весной — весь, целиком, — и как воздух наполняется запахом, густым, сладким, пьяным. Я представляла, как осенью мы собираем урожай — не только яблоки, а груши, сливы, вишни, черешни, орехи, малину, смородину, крыжовник. И ещё что-то — персики, абрикосы, виноград. Я представляла, как варю варенье, сушу фрукты, делаю вино, мармелад, пастилу.

Я представляла, как всё это стоит в кладовых, в погребах, на полках, и как мы продаём это — на рынке, на ярмарке, при дворе. И я думала: это возможно. Не сразу. Не в один год. Но возможно. Потому что земля помнит. Потому что она ждёт. Потому что она готова — если мы готовы.

Я посмотрела на Сальму. Она сидела тихо, с книгой на коленях, и я видела, что она тоже думает об этом. Её глаза были устремлены куда-то вдаль — не за окно, а глубже, в то время, которое было до нас. Ветер за окном на минуту стих, и в наступившей тишине стало слышно, как дышит дом — ровно, спокойно, будто он тоже слушал. И я подумала: она нашла это не случайно. Она читала ночью, не могла уснуть, и нашла. Потому что она искала. Может быть, не сознательно, но искала — смысл, корни, место, где можно пустить свои. И нашла. И теперь сидела рядом со мной, и в её руках была не просто книга, а ключ. К тому, что было. К тому, что может быть. К тому, что мы можем сделать. Я смотрела на её руки — тонкие, но уже не такие беспомощные, как в первый день. Руки, которые держали книгу, которые вели счета, которые чинили, штопали, помогали. Руки, которые научились работать. И в этих руках книга казалась не тяжёлой, а нужной. Как будто она всегда там и была.

Сальма продолжила — и в её голосе была та же ровная, тихая уверенность, что и раньше, но теперь к ней прибавилось что-то ещё. Благоговение. Как будто она читала не хронику, а молитву.

— Тут написано, что поместье принадлежало семье Ольтовых. Той самой, чьё имя ты носишь. Не по крови — по бумагам. Но имя — то же. Ольтовы. Они жили здесь двести лет. Они построили дом. Они посадили сад. Они держали двор. У них были слуги, работники, арендаторы. У них были деревни — те самые, что теперь наши. Гнилые Ключи, Верхние, Заречье, Сосновка. Они платили оброк. Они работали. Они жили. А потом — тут обрыв. Страница вырвана. Дальше — ничего. Я не знаю, что случилось. Может, война. Может, мор. Может, пожар. Может, просто время. Но поместье исчезло. Остался только дом. И сад. И яблони. И земля. И имя.

Она замолчала, и я услышала, как за окном снова поднялся ветер — тихо, будто кто-то провёл рукой по стеклу. Я взяла книгу из её рук. Кожаный переплёт был тёплым — от её колен, от её рук, от её дыхания. Я посмотрела на страницу. Буквы были старые, витиеватые, с завитками и хвостиками, но я разобрала некоторые слова. «Сад». «Поместье». «Ольтовы». «Двести лет». Я провела пальцем по строчкам — медленно, будто касалась не бумаги, а времени. Бумага была шершавая, плотная, с пятнами — где-то от воды, где-то от воска, где-то от времени. И я подумала: вот оно. То, что мы искали. Не клад. Не золото. Не драгоценности. А прошлое. Настоящее. Корни. Я держала в руках не книгу, а память. Чужую память, которая стала моей. Потому что имя — то же. Потому что земля — та же. Потому что сад — тот же. И яблони — те же. И я почувствовала, как что-то внутри меня

встаёт на место — тихо, как ключ в замке. Как будто я всегда знала, что я здесь не случайно. Что я пришла не на пустое место. Что под моими ногами — не просто земля, а чья-то жизнь. Чья-то мечта. Чья-то работа. И теперь это — моё. Не потому, что я купила. А потому, что я продолжила. Потому что я не дала умереть. Потому что я полила, обрезала, починила, накормила. И земля ответила. И дом ответил. И имя — ответило.

Я спросила Сальму:

— Ты можешь прочитать всё? Всю книгу? Всё, что там написано?

Она кивнула. И в этом кивке была не просто готовность, а что-то похожее на радость — тихую, глубокую, как у человека, который наконец нашёл дело, для которого родился.

— Могу. Я читаю медленно, но могу. Тут много страниц. Много записей. Про сад. Про деревья. Про то, как их сажать. Как обрезать. Как прививать. Как лечить. Про то, как делать вино. Из яблок. Из груш. Из слив. Про то, как хранить урожай. Про то, как строить погреб. Про то, как жить.

Она говорила, и я видела, как перед ней — и передо мной — разворачиваются страницы. Не те, что в книге, а те, что в жизни. Я представляла, как она сидит вечерами у печки, с книгой на коленях, с лучиной или свечой, и читает — медленно, вдумчиво, иногда останавливаясь, чтобы записать что-то в тетрадь. Как она переписывает рецепты, схемы, советы. Как она учится — не для себя, а для всех. Для дома.

Для сада. Для нас. Я представляла, как весной мы выходим в сад — не с топориком и ведром, как в первый год, а с книгой, с планом, со знанием. Как мы обрезаем старые яблони — не наугад, а так, как обрезали Ольтовы двести лет назад. Как мы прививаем новые сорта — груши, сливы, вишни. Как мы сажаем кусты — малину, смородину, крыжовник. Как мы копаем погреб — глубже, шире, чтобы хранить урожай. Как мы делаем вино — не только из яблок, а из груш, из слив, из всего, что даст земля. И я думала: это не просто работа. Это — продолжение. Мы не начинаем с нуля. Мы продолжаем то, что начали другие. И от этой мысли становилось не тяжело, а легко. Потому что я знала: мы не одни. За нами — двести лет. За нами — Ольтовы. За нами — сад, который ждал. И мы — не просто хозяйка и её помощница. Мы — те, кто вернул имя. Те, кто продолжил. Те, кто не дал умереть.

Я посмотрела на Сальму и сказала:

— Читай. Всё, что сможешь. Каждую страницу. Каждую запись. А потом — расскажи мне. Всё. По порядку. Чтобы я знала. Чтобы мы знали. Чтобы сад — снова стал садом. А дом — домом. А имя — именем.

Я слушала её и думала: вот оно. Не просто книга. А руководство. Не просто хроника. А знание. Не просто прошлое. А будущее. Я вспомнила, как в первый год я стояла в саду и не знала, с чего начать. Как обрезать старые яблони — я не знала. Как лечить кору — я не знала. Как прививать — я не знала. Я делала всё наугад, по памяти, по интуиции, по

тем крохам, которые подсказывала земля. И теперь — у меня было знание. Настоящее. Записанное. Проверенное. Двести лет назад кто-то так же стоял в этом саду, смотрел на эти деревья, держал в руках инструмент — и знал. И записал. И сохранил. Для меня. Для нас.

И я сказала:

— Читай. Всё. Записывай. Переводи. Что сможешь — расскажи нам. Что не сможешь — оставь. Мы будем — учиться. Мы будем восстанавливать. Не всё сразу. Но постепенно. Сад. Деревья. Виноград. Всё, что было. Всё, что может быть.

Сальма посмотрела на меня. Долго. Я видела, как в её глазах что-то меняется — будто она ждала этих слов, будто боялась, что я скажу «нет», будто готовилась убеждать, доказывать, просить. И не пришлось. Я видела, как напряжение уходит из её плеч, как руки расслабляются, как она выдыхает — тихо, почти неслышно. Потом улыбнулась — тихо, уголками губ. И произнесла:

— Я знала, что ты так скажешь. Я знала, что ты не испугаешься. Я знала, что ты захочешь больше.

— Хочу, — призналась я. — Всегда хотела. Просто не знала, что можно. Теперь знаю. Теперь — можно.

Я сказала это и почувствовала, как во мне что-то отпускает. То, что я держала в себе долго — может быть, всю жизнь. Страх, что я не справлюсь. Что я недостаточно знаю. Что я не имею права хотеть большего. Я смотрела на Сальму и ви-

дела, что она понимает. Не словами — чем-то другим. Тем, что было между нами — общим, пережитым, выстраданным. Мы обе пришли сюда никем. И стали — кем-то. И теперь — хотели большего. Не для себя. Для дома. Для сада. Для всех, кто был за спиной. И это было — правильно.

Она встала. Взяла книгу. Пошла к двери. Я смотрела ей вслед — на её спину, прямую, на плечи, расправленные, на шаг, уверенный. И вспомнила, как она пришла — сгорбленная, тихая, с глазами, которые смотрели в пол. А теперь — шла. Прямо. С книгой в руках. С именем. С знанием. С будущим. На пороге обернулась и добавила:

— Я начну сегодня. Я прочитаю всё. Я найду всё. Я расскажу всё. Мы посадим — всё. Груши. Сливы. Вишни. Виноград. Всё, что было. Всё, что может быть.

Она ушла. Дверь за ней закрылась тихо, без скрипа — Бертран починил петли ещё осенью. Я осталась сидеть у печки. С чашкой чая. Со снегом за окном. Чай уже остыл — я и не заметила, как он остыл. Я сделала глоток — тёплый, но не горячий, с мёдом, с травами, с тем самым вкусом, который стал для меня вкусом дома. И посмотрела в окно. Снег всё шёл. Тихий. Ровный. Белый. Он ложился на стекло, на крышу, на ветки яблонь. Он заметал дорогу, двор, забор. Он делал мир — мягким. Тихим. Целым. И я думала: вот оно. Не просто книга. Не просто хроника. А жизнь. Чья-то жизнь, которая не закончилась. Которая продолжилась. В нас. В саду. В доме. В имени. Я думала о том, что весной мы вый-

дем в сад — не с топориком и ведром, как в первый год, а с книгой, с планом, со знанием. Мы посадим груши. Сливы. Вишни. Черешни. Орехи. Малину. Смородину. Крыжовник. Может быть, виноград. Может быть, персики. Может быть, абрикосы. Не всё сразу. Но постепенно. Год за годом. Дерево за деревом. Куст за кустом. И через десять лет — сад снова станет садом. Не таким, как сейчас. А таким, как был. Может быть, лучше. Может быть, больше. Потому что мы не просто сажаем. Мы продолжаем. Мы возвращаем. Мы не даём умереть. И я думала: это и есть — счастье. Не в чашке чая. Не в тепле печки. Не в снеге за окном. А в этом — в знании, что ты не одна. Что за тобой — двести лет. Что перед тобой — будущее. Что в руках — книга. А в сердце — надежда. И я улыбнулась — тихо, про себя, — и сделала ещё один глоток. Чай был тёплый. С мёдом. С травами Ирмы. И пах домом.

Я сидела у печки, смотрела на снег и думала о том, что сказала Сальма. Слова её не выходили у меня из головы. Сад. Огромный сад. Не только яблони. Груши. Сливы. Вишни. Черешни. Орехи. Ягоды. Виноград. Всё то, что росло здесь двести лет назад. Всё то, что было и исчезло. И я подумала: а почему бы и нет? Почему бы не посадить всё это снова? Мысль была простая и ясная, как морозное утро. Я чувствовала, как она прорастает во мне — тихо, настойчиво, как семя в тёплой земле. И я представляла не просто деревья, а целый мир — живой, дышащий, полный цвета и запаха. Мир, который был здесь до нас. Который ждал. Который мы могли

вернуть.

Мысль была простая и ясная, как морозное утро. Весной мы посадим новые деревья. Не только яблони — их у нас уже двадцать. Мы посадим сливы. Вишни. Груши. Может быть, черешни — если найдём саженцы. Может быть, орехи — если хватит места. Может быть, ягодные кусты — малину, смородину, крыжовник. Может быть, даже виноград — если Сальма прочитает в книге, как его выращивать. Всё, что было. Всё, что может быть. Всё, что мы сможем. Я перебирала названия в уме, как чётки, и каждое отзывалось во мне чем-то своим. Сливы — тёмные, с сизым налётом, которые лопаются во рту, если переспели. Вишни — с косточкой, которую хочется выплюнуть в траву, и с соком, который красит пальцы. Груши — тяжёлые, с тонкой кожицей, которая лопается под зубами, и с мякотью, тающей на языке. Черешни — крупные, глянцевые, дорогие, которые можно продать на рынке и заработать больше, чем на яблоках. Орехи — в твёрдой скорлупе, которые хранятся годами и спасают зимой. Малина — нежная, которую нельзя перевозить, но можно есть с куста, горстями, пока не заболят пальцы. Смородина — чёрная, с кислинкой, из которой получается лучшее варенье. Крыжовник — зелёный, с колючками, которые оставляют царапины на руках, но ягоды сладкие, как мёд. Виноград — янтарный, тяжёлый, солнечный, который можно есть свежим, а можно давить в вино. И я думала: всё это — наше. Не сразу. Не в один год. Но — наше.

Я представила, как это будет. Весной — тёплой, мокрой, ранней — мы выйдем в сад. Все вместе. Двадцать человек. Плюс волки. Плюс поварихи. Плюс крестьяне, которые придут помочь. Я представила, как снег сойдёт, как земля обнажится — тёмная, влажная, тяжёлая, — как она начнёт парить на солнце, отдавая последнюю влагу. Как запахнет землёй — сырой, живой, древней. Как мы выйдем утром, когда ещё холодно, когда трава в росе, когда воздух звенит от птиц. Как возьмём лопаты, лейки, саженцы. Как Гуннар привезёт их из города — из питомника, который он знает. Или из деревни, где растут дикие сливы и вишни. Или из леса, где можно накопать молодых деревьев. Я представила, как саженцы стоят у забора — тонкие, голые, с корнями, завёрнутыми в мешковину, — и как мы смотрим на них и думаем: это — будущее. Это — то, что будет через десять лет. Через двадцать. Через пятьдесят. Когда нас уже не будет. Но сад — будет. Я представила, как мы выкопаем ямы — глубокие, широкие, чтобы корням было где расти. Как мы поставим саженцы в ямы, расправим корни, засыплем землёй, утрамбуем, польём водой. Как подвяжем их к колышкам — тонким, деревянным, чтобы ветер не сломал. Как обнесём каждый саженец оградкой — чтобы скот не съел, чтобы зайцы не обглодали. И будем ждать. Год. Два. Три. Пока они не вырастут. Пока не дадут первые плоды. Пока не станут садом. Я представила, как через несколько лет — может быть, через пять, может быть, через семь — мы выйдем в сад и увидим не тон-

кие прутики, а деревья. С ветками. С листьями. С цветами — белыми, розовыми, душистыми. И как пчёлы будут гудеть в этих цветах, и как воздух будет сладким, и как мы будем стоять и смотреть, и не верить, что это — мы. Что это наше. Что это выросло.

Я думала о том, какие это будут деревья. Сливы — тёмные, синие, сладкие. Вишни — красные, кислые, сочные. Груши — жёлтые, медовые, мягкие. Черешни — тёмно-красные, крупные, дорогие. Орехи — твёрдые, сытные, долго хранятся. Малина — красная, нежная, душистая. Смородина — чёрная, кислая, полезная. Крыжовник — зелёный, колючий, сладкий. Виноград — янтарный, тяжёлый, солнечный. Всё это — наше. Я думала о том, как мы будем собирать урожай — не только яблоки, а всё. Как будем варить варенье из слив и вишен, как будем сушить груши, как будем давить виноград, как будем хранить орехи в мешках, как будем продавать черешни на рынке — дорого, потому что они редкие. Я думала о том, как кладовые будут полны — не только яблоками, а всем. Как погреб будет стоять — с вином из яблок, из груш, из слив, из винограда. Как на столе будет — не только шарлотка, а пироги с вишней, с сливой, с грушей. Как дети будут бегать по саду и есть малину с куста, и как у них будут красные пальцы и красные губы. И я думала: это — не просто еда. Это — богатство. Настоящее. Не золото в сундуке, а деревья в саду. Не драгоценности на шее, а ягоды в руке. Не титул на бумаге, а урожай в кладовой. И это богат-

ство нельзя украсть. Нельзя отнять. Оно растёт. Оно живёт.

Я думала о том, что это — не просто деревья. Это — будущее. Это — то, что останется после нас. Это — то, что увидят дети. Тирра. Дети крестьян. Дети, которые ещё родятся. Они будут бегать между сливами и вишнями. Они будут есть малину с куста. Они будут собирать орехи осенью. Они будут пить вино из винограда, которое мы сделаем. Они будут жить в саду, который мы посадим. И они будут знать: это — их. Я представила Тирру — не такую, как сейчас, маленькую, а взрослую. Как она стоит в саду, под вишней, и смотрит на ветки, и думает: это посадила моя мама. Не по крови — по выбору. По жизни. И я представила, как она рассказывает своим детям — не о том, как мы выживали, а о том, как мы сажали. Как мы копали ямы. Как мы носили воду. Как мы ждали. И как сад — вырос. И как она говорит: «Это — наше. Это — ваше. Это — будет всегда». И я думала: вот оно. Бессмертие. Не в камне. Не в книге. А в саду. В деревьях. В ягодах. В детях. В жизни. Которая продолжается. Которая не заканчивается. Которая — растёт.

Я смотрела на снег за окном и думала: сейчас — зима. Сад спит. Деревья стоят — голые, тёмные, тихие. Но под снегом — корни. Под корой — жизнь. Под землёй — сила. И весной — всё проснётся. Всё зазеленеет. Всё зацветёт. И мы — выйдем в сад. С лопатами. С саженцами. С надеждой. И посадим — всё. Груши. Сливы. Вишни. Черешни. Орехи. Малину. Смородину. Крыжовник. Виноград. Всё, что было. Всё, что

может быть. И я улыбнулась — тихо, про себя, — и сделала ещё один глоток. Чай уже совсем остыл. Но мне было тепло. От печки. От мыслей. От будущего. От сада. Который ещё не посажен. Но уже — мой.

Я думала о том, что это не просто сад. Это память. Это уважение к тем, кто был здесь до нас. К Ольтовым. К тем, кто построил этот дом. Кто посадил первые яблони. Кто держал двор. Кто жил здесь двести лет назад. Мы не первые. Мы не последние. Мы продолжение. Мы те, кто вернул. Мы те, кто вырастит. Мы те, кто будет. Я думала о них, о тех, чьих лиц я не знала, чьих голосов не слышала, чьих имён не помнила. Но я чувствовала их. В стенах дома, толстых, надёжных, сложенных на совесть. В половицах, тёмных, отполированных ногами. В печке, большой, с заслонкой, которая до сих пор ходила легко, будто её только вчера смазали. В яблонях, старых, корявых, с корой, покрытой лишайником, но всё ещё живых, всё ещё плодоносящих. Они были здесь. Они строили. Они сажали. Они ждали. И, может быть, они тоже сидели у окна, смотрели на снег, держали чашку с чаем и думали: «А что, если?» И я думала: мы не просто хозяйка и её люди. Мы те, кто подхватил. Те, кто не дал упасть. Те, кто продолжил. И в этом было что-то большое, большее, чем я сама, большее, чем дом, большее, чем сад. Что-то, что шло сквозь время, тихо, ровно, как снег за окном.

Я отставила чашку и встала. Ноги затекли от долгого сидения, и я почувствовала, как по ним бегут мурашки, острые,

живые. Я подошла к окну. Половицы скрипнули под ногами, тихо, привычно, будто здороваясь. Снег шёл. Белый. Тихий. Густой. Он ложился на стекло хлопьями, которые прилипали, сползали, оставляли мокрые дорожки. Он заметал двор, забор, дорогу. Он делал мир мягким. Тихим. Целым. Я смотрела на него и думала: весной. Весной мы начнём. Весной мы посадим. Весной мы вырастим. Не всё сразу. Но постепенно. Сад не яблоневый. Сад настоящий. Большой. Богатый. Живой. Как двести лет назад. Я представила его, весь, целиком. Не тот, что сейчас, с двумя десятками яблонь, с покосившимся забором, с пустыми грядками под снегом. А другой. Большой. С рядами деревьев, ровными, как солдаты. С дорожками, посыпанными гравием, с травой между рядами. С кустами малины, смородины, крыжовника, которые гнутся под тяжестью ягод. С виноградом на шпалерах, с янтарными гроздьями, которые светятся на солнце. С орехами, высокими, раскидистыми, с тенью, в которой можно спрятаться от летнего зноя. С вишнями, тёмными, густыми, с ветками, которые ломятся от ягод. С грушами, стройными, с плодами, которые тяжело свисают и пахнут мёдом. И я представила, как мы ходим по этому саду, не с топориком и ведром, а с корзинами. Как собираем урожай, не только яблоки, а всё. Как корзины наполняются сливами, вишнями, грушами, черешнями. Как мы несём их в дом, тяжёлые, полные, и как руки устают, но мы улыбаемся. Как варим, сушим, давим, храним. Как кладовые наполняются, не только яблоками, а

всем. Как погреб стоит с бочками вина, с мешками орехов, с банками варенья. Как на столе пироги, шарлотки, штрудели, мармелад. Как дети бегают по саду, с красными пальцами, с красными губами, счастливые, живые. И я думала: это не мечта. Это план. Это то, что мы сделаем. Не в один год. Может быть, не в десять. Но сделаем. Потому что мы уже сделали невозможное. Мы выжили. Мы построили. Мы приняли. Мы стали семьёй. А сад это просто деревья. Просто ямы. Просто вода. Просто время. И мы справимся.

Я смотрела на снег и чувствовала, как во мне растёт что-то, не тревога, не страх, а тихая, ровная уверенность. Как будто земля под ногами стала твёрже. Как будто стены дома стали толще. Как будто за спиной не просто люди, а что-то большее. Память. Корни. Имя. И я подумала: мы не просто хозяйка и её люди. Мы Ольтовы. Не по крови. По выбору. По жизни. По саду, который посадим. По дому, который держим. По имени, которое вернули. И это имя не просто слово. Это обещание. Тем, кто был. Тем, кто будет. Тем, кто сейчас за спиной. Что мы не сдадимся. Что мы не уйдём. Что мы вырастим. Сад. Дом. Жизнь. И я улыбнулась, тихо, про себя, и посмотрела на снег. Он всё шёл. Белый. Тихий. Густой. И в этом снеге было что-то обещающее. Что-то, что говорило: весна придёт. Сад проснётся. И мы выйдем. С лопатами. С саженцами. С надеждой. И посадим всё. Всё, что было. Всё, что может быть. Всё, что будет.

Глава 2

Метель началась ночью, внезапно, без предупреждения, как будто кто-то невидимый распахнул над холмом огромную дверь, за которой всё это время ждала буря. Ветер ударил в стены дома с такой силой, что задрожали стёкла, а ставни застонали, и я проснулась от этого звука, села в постели и прислушалась. Снег, который до этого падал тихо и ровно, теперь нёсся сплошной стеной, гонимый ветром, и в окно ничего не было видно, кроме белой круговерти, в которой не угадывались ни забор, ни сарай, ни яблони. Ветер выл в трубе, свистел в щелях, бился в двери, и казалось, что дом сейчас не выдержит, что стены треснут, что крыша сорвётся, но дом стоял, потому что мы его укрепили, потому что мы его вылечили, потому что мы его построили заново. Я лежала в темноте и слушала, как он дышит, как скрипят половицы, как гудит печная труба, и чувствовала под ладонью стену, тёплую, шершавую, живую, и думала: он выдержит. Мы выдержим.

К утру метель не стихла, а стала ещё сильнее. Ветер дул с севера, ледяной, злой, пронизывающий, и снег летел горизонтально, так что нельзя было понять, где небо, где земля, где двор, где дорога. Я вышла на крыльцо на минуту, чтобы посмотреть, и меня тут же ударило в лицо, ослепило, обожгло, и я вернулась в дом, закрыв за собой дверь и накинув

крюк. В доме было тепло, печка топилась, и все были в сборе, потому что на улицу выйти было невозможно. Двадцать человек сидели в одной комнате, кто на скамьях, кто на полу, кто у печки, и в доме стоял ровный гул голосов, который перекрывал вой ветра. Астрид и Сигрид варили похлёбку, и пар от котла поднимался к потолку, оседал на балках, и в воздухе пахло луком, морковью и травами, которые Ирма добавляла в котёл. Тора пекла хлеб, и я слышала, как она шлёпает тесто о стол, как скрипит противень, как она ворчит под нос, когда что-то не получается. Хельга и Брита резали овощи, и ножи стучали по доске ровно, как метроном. Инга и Сигне мыли посуду, и вода плескалась в тазу, и губки шуршали по глине. Лиса и Мира делали мармелад, и в комнате пахло яблоками и мёдом, и они спорили вполголоса, кому первому пробовать. Сальма читала вслух книгу, и её голос звучал ровно, спокойно, как река, которая не замерзает даже в самый лютый мороз. Тирра сидела у меня на коленях и слушала, приоткрыв рот, и её маленькие пальцы теребили край моего платка, а я держала её за плечи и смотрела на огонь. Бертран сидел у печки и молчал, и его большие руки лежали на коленях, и в них был покой. Гвен точила нож, и сталь пела под её пальцами, тонко, тихо, опасно. Ивар проверял инструменты, и я слышала, как он перекладывает их, как звякает металл о металл. Ирма перебирала травы, и её пальцы двигались медленно, бережно, будто она гладила каждую веточку. Гуннар писал, и перо скрипело по бумаге, и я знала,

что он записывает всё, что происходит, для будущих хроник. Марта считала, и её губы шевелились, и она хмурилась, и я знала, что она считает не деньги, а дни, которые мы проживём на том, что есть в кладовых. Фелина, Мариэль и Тирра шили, и иглы мелькали в их пальцах, и ткань ложилась ровно, стежок за стежком. Хельге, Свен и Андерс стояли в дверях своей пристройки и смотрели на метель, и их лица были спокойны, потому что они знали: стены выдержат, крыша не сорвётся, дом не рухнет. И я смотрела на них на всех, и во мне поднималось что-то большое, тёплое, похожее на благодарность. Потому что мы были вместе. Потому что метель выла за окном, а мы сидели в тепле, и никто не боялся, потому что все знали: мы справимся. Мы уже справлялись. И справимся снова.

Метель продолжалась три дня, и всё это время мы не выходили из дома, кроме тех случаев, когда надо было накормить скот. Бертран и Хельге ходили в коровник и конюшню по верёвке, которую натянули от крыльца до сарая, потому что иначе можно было заблудиться в трёх шагах от дома. Я смотрела в окно, как они уходят — две тёмные фигуры, согнувшиеся под ветром, держащиеся за верёвку, как за нить жизни, — и как снег тут же заметает их следы, стирает, будто их и не было. Они возвращались мокрые, замёрзшие, в снегу с головы до ног, и Астрид тут же поила их горячим чаем, а Ивар осматривал руки и ноги, чтобы не было обморожения. Я видела, как Бертран снимает рукавицы — медленно, пото-

му что пальцы не гнутся, — и как Ивар берёт его руки в свои, растирает, дует на них, и как Бертран морщится, но молчит. И я думала: вот она, цена тепла. Вот она, цена жизни. Мы платим за неё руками, спинами, потом, и мы платим её с радостью, потому что знаем: иначе нельзя. Ветер не стихал ни днём, ни ночью, и вой его был таким постоянным, что мы перестали его замечать, как перестают замечать дыхание. Снег занёс двор так, что окна первого этажа оказались наполовину завалены, и в доме стало темнее, и мы зажгли свечи, хотя был день. Свечей у нас было много, мы купили их в городе, и я смотрела на огоньки и думала о том, что если бы не Гуннар, если бы не его поездка, если бы не список, который мы составили вместе, мы бы сейчас сидели в темноте и холоде, и метель была бы не приключением, а смертью. Я смотрела на свечи — на их ровное, живое пламя, которое дрожало, но не гасло, — и думала: это мы. Это про нас. Нас заносит снегом, нас бьёт ветром, но мы горим. Тихо. Ровно. Упрямо. И не гаснем.

Метель стихла на рассвете четвёртого дня, и наступила тишина — такая полная, что я проснулась от неё, как от толчка. Ветер, который выл в трубе трое суток, исчез, и дом стоял в белом, мягком, глухом молчании, и только печка потрескивала, и кто-то дышал во сне, и за окном не было слышно ничего. Я лежала и слушала тишину, и она казалась мне огромной, как небо, как поле, как жизнь. Я слышала, как где-то в глубине дома капает вода из ведра, как скрипит полови-

ца под чьим-то осторожным шагом, как Тирра сопит во сне — тихо, по-детски, — и как Марта уже ворчит на кухне, потому что не может сидеть без дела. Я встала, накинула шаль и вышла на крыльцо. Холод ударил в лицо, но не злой, а свежий, чистый, будто мир умылся за ночь. Двор был завален так, что забор виднелся только наполовину, калитка исчезла совсем, дорога к тракту растворилась в белом поле, и небо было серым, низким, но спокойным. Снег больше не падал. Он лежал — ровный, гладкий, нетронутый, — и в этом снегу не было ни единого следа, ни единой морщинки, и от этого казалось, что мир начался заново. Я постояла, вдохнула холодный, чистый, неподвижный воздух и вернулась в дом. И в доме было тепло. И все уже просыпались — медленно, неохотно, но с облегчением, потому что метель кончилась, потому что мы выстояли, потому что жизнь продолжалась.

Мужчины вышли расчищать дорожки, как только рассвело. Бертран, Хельге, Свен, Андерс, Гуннар, Ивар — все, кто мог держать лопату. Они копали от крыльца до сарая, от сарая до колодца, от колодца до флигеля, и снег под их лопатами был лёгкий, сухой, рассыпчатый, потому что мороз сковал его за ночь. Я стояла на крыльце и смотрела, как они работают, и вдруг увидела, что Свен остановился и наклонился. Он что-то поднял из снега, стряхнул, посмотрел. Потом поднял руку и помахал нам. Я спустилась с крыльца и пошла к нему, утопая по колено. Снег был рыхлый, сыпучий, он набивался в валенки, холодил ноги, и я шла медленно,

осторожно, а Свен стоял и ждал, и в его позе было что-то настороженное. Свен держал в руках шапку — старую, выцветшую, с меховой опушкой, — и шарф, длинный, серый, шерстяной, обледеневший, но целый. Он сообщил:

— Это не наше. Это чужое.

Я взяла шапку, и она была мокрая, холодная, но ещё хранила форму, а значит, её недавно носили, и шарф был завязан узлом, как будто его наспех намотали на шею. Я держала их в руках и чувствовала, как холод пробирается сквозь пальцы, но не могла их отпустить. Я смотрела на меховую опушку, на серую шерсть, на узел, затянутый чьими-то окоченевшими пальцами, и думала: это не вещи. Это человек. Это чья-то жизнь. Я посмотрела на них и почувствовала, как что-то сжимается внутри, потому что это не наше, но это чьё-то, и этот кто-то где-то, может быть рядом, может быть под снегом, может быть живой, а может быть нет. Я велела искать следы, и Бертран с Хельге пошли по двору, вглядываясь в снег, и вскоре Бертран остановился и показал рукой туда, где у забора, там, где снег был не так глубок, виднелась борозда, как будто кто-то полз или шёл или падал, и эта борозда вела к сараю, потом сворачивала к старой яблоне, потом терялась в сугробе у самой стены. Я смотрела на эту борозду и чувствовала, как внутри нарастает что-то острое, тревожное. Я представляла, как этот человек шёл, падал, вставал, полз, цеплялся за снег, за воздух, за жизнь. Я представляла, как он терял силы, как холод забирался под тулуп, как шапка

слетела с головы, а он этого уже не чувствовал. И я думала: мы могли не выйти. Мы могли не увидеть. Мы могли пройти мимо. Но мы вышли. Мы увидели. И теперь — не пройдём.

Бертран и Хельге пошли по ней, а я осталась на месте, потому что не могла идти так быстро, и смотрела, как они копают, как разгребают снег руками, как что-то находят, и потом Хельге выпрямился и помахал мне — не так, как в первый раз, а иначе, быстрее, тревожнее. Я пошла к ним, уже зная, что увижу, и под яблоней, у самой стены сарая, в снегу лежал человек. Это был пожилой мужчина с седой бородой и обветренным лицом, глаза у него были закрыты, и он был в тулупе, старом и латаном, в валенках и в той самой шапке, которая теперь была у меня в руках. Он лежал, свернувшись, как будто пытался согреться, и снег почти занёс его, оставив только тёмное пятно на белом, и я подошла ближе и коснулась его лица, которое было холодное, но не ледяное, а такое, какое бывает у человека, который долго был на морозе, но ещё жив. Я приложила ладонь к его шее и почувствовала там, под кожей, слабое, неровное, но живое биение, и поняла, что он дышит, что он жив, и велела нести его в дом, быстро и осторожно. Я смотрела, как Бертран и Хельге поднимают его — легко, потому что он был худой, почти невесомый, — и как они несут его к дому, и как снег падает с его тулупа, с его бороды, с его валенок, и как голова его запрокидывается, и я поддерживала её, шла рядом, говорила что-то, сама не зная что, и чувствовала, как во мне поднимается

что-то, чему я не знала названия. Не жалость. Не страх. А что-то среднее между ними. Что-то, что говорило: он жив. Он жив. И мы его не бросим.

Бертран и Хельге подняли его, как что-то хрупкое, и понесли, а я шла рядом, держа шапку и шарф, и смотрела на его лицо, на морщины, на седую бороду, на руки, большие и натруженные, с обветренной кожей, и думала о том, что он кто-то, может быть крестьянин, может быть странник, может быть купец, но я не знала, кто именно, и знала только, что мы не могли его оставить. Я смотрела на его руки — на ладони, тёмные, мозолистые, с трещинами, которые не заживают зимой, — и думала: эти руки работали. Долго. Всю жизнь. Они держали лопату, топор, вожжи, чьи-то детские руки. И теперь они лежали бессильно, и снег таял на них, и капли падали на пол, и я слышала, как они падают, — тихо, мерно, как часы. Мы внесли его в дом и положили на скамью у печки, и Астрид с Сигрид бросились за одеялами, а Ивар подошёл, расстегнул тулуп, проверил дыхание, пощупал руки, ноги, лицо, а потом объявил:

— Живой. Обморожение. Но не сильное. Руки, ноги целы. Надо отогревать. Медленно. Не горячим. Тёплым. И отвар. Ирма, дай отвар. Тот, что от холода. И чай. Горячий. С мёдом.

Ирма кивнула и ушла, Астрид принесла одеяла, Сигрид — подушки, Тора — горячую воду, и мы растирали ему руки и ноги тёплыми тряпками, поили отваром, укрывали одея-

лами, а я сидела рядом и смотрела, как к его лицу возвращается цвет, сначала бледность, потом серость, потом слабый румянец, а потом он открыл глаза, мутные, серые, испуганные, и посмотрел на нас, на меня, на Ивара, на Астрид, на Тирру, которая стояла в дверях и смотрела широко раскрытыми глазами, и прошептал:

— Где я?

Голос у него был хриплый, слабый, как будто шёл из глубокого колодца, и я видела, как он пытается приподняться, как напрягаются его руки, как он смотрит по сторонам — на печку, на огонь, на лица, на потолок, — и как в его глазах появляется что-то, похожее на удивление, на недоверие, на страх, что это сон.

Я ответила:

— В усадьбе. На холме. Вы замерзали. Мы нашли вас в снегу. Вы живы. Всё хорошо.

Он закрыл глаза. Потом снова открыл. Я видела, как он борется с собой, как пытается собрать мысли, которые разбегаются, как пытается вспомнить, кто он, где он, что случилось. Потом попытался что-то сказать, но не смог — голос сорвался. Я услышала, как он хрипит, как воздух выходит из горла с трудом, как будто там, внутри, что-то замёрзло и не оттаивает. Ивар сказал:

— Не говорите. Пейте. Спите. Потом — всё расскажете.

Он кивнул едва заметно — так, что я скорее угадала этот кивок, чем увидела, — и закрыл глаза, и через минуту уже

спал глубоко и тяжело, как спят люди, которые были на краю. Я смотрела на него и видела, как его лицо разглаживается, как уходит напряжение, как морщины на лбу становятся мягче, будто он отпустил что-то, что держал слишком долго. Его дыхание было неровным — то глубоким, то поверхностным, — и я слышала, как оно свистит в груди, и думала: он был на краю. Он был там, где кончается жизнь и начинается что-то другое. И он вернулся. Мы его вернули. Мы вытащили его из снега, из холода, из тишины, и теперь он лежал у нашей печки, дышал нашим воздухом, пил наш чай, и это было — чудо. Простое. Тихое. Настоящее. Такое, какие случаются не в сказках, а здесь, в доме, между печкой и окном, между чашкой чая и одеялом. Я смотрела на его руки — большие, натруженные, с обветренной кожей, с трещинами, которые не заживают зимой, — и думала: эти руки работали. Долго. Всю жизнь. Они держали лопату, топор, вожжи, чьи-то детские руки. И теперь они лежали бессильно, и снег таял на них, и капли падали на пол, и я слышала, как они падают — тихо, мерно, как часы. Я сидела рядом и смотрела, как Астрид поправляет одеяло, как Сигрид подкладывает подушку, как Тора ставит у печки ещё одно полено, и как Тирра, стоя в дверях, не сводит с него глаз. И я думала: мы не знаем, кто он. Мы не знаем, откуда он. Мы не знаем, что он нам расскажет, когда проснётся. Но мы знаем одно: он жив. И этого достаточно. Потому что дом — это не только те, кто в нём живёт. Это ещё и те, кого в нём принимают. Кого спасают.

Кому дают чай, одеяло, тепло. И я смотрела на его спящее лицо и думала: спи. Спи, сколько нужно. У нас есть время. У нас есть чай. У нас есть хлеб. У нас есть тепло. И мы никуда не спешим. Потому что зима. Потому что метель кончилась. Потому что жизнь продолжается.

Глава 3

Незнакомец пришёл в себя на следующий день, ближе к полудню, когда солнце уже поднялось над холмом и в доме стало светлее. Я сидела у печки с чашкой чая, а рядом возилась Тирра, раскладывая фигурный мармелад по плошкам. Она делала это медленно, сосредоточенно, высунув от старания язык, и её маленькие пальцы оставляли на плошках липкие следы. Он открыл глаза медленно, как открывают тяжёлые ставни, и долго смотрел в потолок, не понимая, где он и что с ним. Я видела, как его взгляд скользит по балкам, по тёмному дереву, по теням, которые ходят по потолку от огня, и как в этом взгляде нет ни страха, ни удивления — только пустота, как у человека, который только что вернулся откуда-то, где ничего нет. Потом повернул голову, увидел меня, Тирру, печку, одеяла, которыми был укрыт, и лицо у него изменилось, стало осмысленным и настороженным. Я видела, как он напрягся, как его руки сжали край одеяла, как он проверяет, где он, кто вокруг, есть ли опасность. Он попробовал приподняться, но Ивар, который сидел неподалёку и чистил инструменты, тут же подошёл и положил ладонь ему на плечо.

— Не вставайте, — произнёс он. — Ещё рано. Вы были на морозе почти сутки. Надо лежать.

Незнакомец послушался, откинулся на подушки и закрыл

глаза. Я видела, как он дышит — глубоко, медленно, будто проверяет, слушается ли его тело. Потом снова открыл их и посмотрел на меня. Голос у него был хриплый, но твёрдый, и говорил он так, как говорят люди, привыкшие, что их слушают. В этом голосе была не просьба, а уверенность, не вопрос, а утверждение, и я поняла: этот человек не привык, чтобы ему перечили. Но он был слаб, и слабость делала его голос мягче, чем он, может быть, хотел.

— Где я? Кто вы?

Я ответила, что он в усадьбе на холме, что мы нашли его в снегу под яблоней, что метель мела три дня, что он был почти замёрзший, но живой, и что теперь всё хорошо. Я говорила ровно, спокойно, не спеша, и смотрела на него, и видела, как он слушает — не перебивая, не отводя глаз, — и как в его взгляде что-то меняется. Он слушал молча, не перебивая. Потом он заговорил сам, и голос его становился всё твёрже, как будто к нему возвращалась сила. Я видела, как он приподнимается на подушках, как расправляет плечи, как в его глазах появляется что-то, похожее на прежнего человека — уверенного, властного, знающего себе цену.

— Меня зовут Артуа горт Лортансар, — сказал он. — Я герцог. Столичный аристократ. Я направлялся в гости к другу, в его имение за тремя реками, и шёл порталом, потому что дорога долгая, а дела ждать не могли. Но магия засбоила. Такое бывает, редко, но бывает. Порталы нестабильны, особенно зимой, особенно в этих краях. Меня выбросило здесь.

Ночью. В метель. Я не знал, где я, не знал, куда идти, и шёл, пока не упал. Я думал, что умру. Я почти умер.

Он замолчал. Потом посмотрел на меня — долго, внимательно, как смотрят люди, которые оценивают. Я видела, как его глаза скользят по моему лицу, по моим рукам, по моему платью, по всему, что было вокруг, и как в этом взгляде нет ни высокомерия, ни снисхождения, а только вопрос. Может быть, даже несколько вопросов. Кто она? Что это за место? Почему здесь? И я поняла, что передо мной не просто путник, не просто крестьянин, не просто купец. Передо мной — дракон. Настоящий. Герцог. Аристократ. Один из тех, кто правит этим миром. И он был в моём доме, на моей скамье, под моими одеялами, и я только что спасла ему жизнь. Я смотрела на него и чувствовала, как внутри поднимается что-то странное — не страх, не трепет, а спокойная, ровная уверенность. Потому что титул — это не то, что спасает от смерти. Титул — это не то, что греет в метель. Титул — это не то, что даёт чай и хлеб. И в этот момент, здесь, у печки, он был не герцогом. Он был человеком. Спасённым. Живым. И я сказала:

— Вы голодны. Вам надо поесть. Астрид, принеси бульон. И хлеб. И чай.

Астрид ушла. Я слышала, как она идёт по коридору — быстро, легко, — и как в кухне начинается движение, как звякает посуда, как Тора что-то говорит, как Сигрид отвечает. Герцог посмотрел ей вслед, потом снова на меня. Потом

спросил:

— Как вас зовут?

Я ответила:

— Валентина Ольтова. Я хозяйка этого холма. Это моя усадьба. Это мой дом.

Он кивнул. Медленно. Как кивают люди, которые запоминают. Я видела, как его брови чуть приподнялись, как в глазах мелькнуло что-то — удивление, узнавание, — и как он снова посмотрел на меня, но уже иначе. Внимательнее. Глубже. Потом произнёс:

— Ольтова. Я слышал это имя. Давно. Очень давно. Это было поместье. Большое. Богатое. Сад. Я читал о нём в хрониках. Я думал, что оно исчезло. Сгорело. Или было заброшено. А оно живо.

Он сказал это, и я почувствовала, как что-то во мне отзывается. Я видела, как он смотрит на меня — не на хозяйку, не на женщину, не на крестьянку, а на ту, кто вернул имя. И в этом взгляде было что-то, чего я не ожидала. Уважение. Настоящее. Не то, что говорят из вежливости, а то, что чувствуют, когда видят перед собой нечто, чего не ожидали увидеть. И я ответила:

— Живо, да.

Я сказала это просто. Без гордости. Без вызова. Просто — как факт. Как говорят о том, что само собой разумеется. Но в этой простоте было всё: и моя работа, и мои руки, и мои ночи без сна, и мои страхи, и моя надежда.

Он посмотрел на меня ещё раз. Потом улыбнулся — слабо, уголками губ, но улыбнулся. И сказал:

— Значит, я не ошибся. Значит, портал выбросил меня не случайно. Магия знает, куда бросать. Она бросила меня к вам. Потому что вы — та, кто может помочь. Потому что вы — та, кто не оставит. Потому что вы — та, с кем стоит говорить.

Я слушала его и чувствовала, как что-то во мне сжимается и разжимается — странное, тёплое, тревожное. Слова были простые, но в них была тяжесть. Настоящая. Не та, что от пустых обещаний, а та, что от жизни, прожитой до конца. Я видела, как он говорит — медленно, с усилием, но твёрдо, — и как в его глазах, ещё мутных от слабости, горит что-то, что не гаснет. Что-то, что было в нём до метели, до снега, до падения. Что-то, что он не потерял. И я подумала: он не просто говорит. Он обещает. И он сдержит. Потому что такие люди, как он, — если обещают, то держат. Даже перед собой. Даже в снегу. Даже на краю.

Астрид принесла бульон. Герцог ел медленно, маленькими глотками, но ел. Я смотрела, как он держит ложку — неуверенно, как будто руки ещё не слушаются, — и как он подносит её ко рту, и как его горло двигается, когда он глотает. И с каждым глотком к нему возвращались силы. Я видела это по его лицу — по тому, как разглаживаются морщины, как розовеет кожа, как взгляд становится яснее. Он посмотрел на Тирру, которая всё ещё сидела рядом со мной

и смотрела на него широко раскрытыми глазами. Потом на Сальму, которая вошла в комнату и остановилась в дверях. Потом на Гуннара, который стоял у окна и молчал. Потом на Марту, которая подошла и встала рядом со мной, скрестив руки. Он всех их видел. Всех запоминал. Я видела, как его глаза задерживаются на каждом — на Тирре, на её испуганном лице, на Сальме, на её прямой спине, на Гуннаре, на его спокойных руках, на Марте, на её скрещённых руках и плотно сжатых губах. И я поняла: этот человек — не барон. Не граф фон Дорн. Не Мортимер фон Штерн. Этот — другой. Этот — из столицы. Из самого сердца. Этот — тот, кто может изменить всё. Если захочет. Если поверит. Если останется. И я почувствовала, как во мне поднимается что-то, чего я давно не чувствовала. Не страх. Не надежду. А что-то среднее между ними. Что-то, что говорило: вот он. Вот тот, кто может. Вот тот, кто поможет. Если мы поможем ему. Если мы поверим. Если мы не закроем дверь.

Он доел бульон и отставил чашку. Потом посмотрел на меня и произнёс:

— Мадам Ольтова. Вы спасли мне жизнь. Я этого не забуду. Я — дракон. Я — герцог. Я — Артуа горт Лортансар. И я ваш должник. Навсегда. Что бы вы ни попросили — я сделаю. Что бы вы ни захотели — я помогу. Потому что вы — та, кто не закрыл дверь. Потому что вы — та, кто дал мне тепло. Потому что вы — та, с кем я хочу говорить. Не сейчас. Позже. Когда я встану. Когда я окрепну. Когда я смогу. Но —

я вернусь. Я вернусь к вам. И я не приеду с пустыми руками.

Я кивнула. Я не знала, что сказать. Я просто стояла и смотрела на него. На дракона. На герцога. На человека, который был на краю и вернулся. Я смотрела на его руки, которые уже не дрожали, на его лицо, которое уже не было серым, на его глаза, которые уже не были мутными. И я видела, как он меняется — медленно, но верно, — как к нему возвращается то, что было отнято метелью. Не титул. Не власть. А жизнь. Просто жизнь. И я подумала: вот оно. Вот что мы сделали. Не просто спасли человека. А вернули его. Себе. Нам. Миру. И это было — больше, чем я могла сказать.

Герцог Артуа горт Лортансар отлёживался сутки. Он спал долго, глубоко, почти не просыпаясь, и Ивар приходил к нему каждые несколько часов — проверял дыхание, щупал лоб, менял компрессы. Я видела, как Ивар стоит над ним — молчаливый, сосредоточенный, — и как его руки двигаются уверенно, точно, без лишних движений. Он не суетился. Он просто делал то, что нужно. И в этом было что-то глубокое, настоящее, что-то, что я видела в нём с первого дня. Он не спрашивал, кто этот человек, откуда он, какой у него титул. Он просто лечил. Потому что это было — его дело. Его работа. Его жизнь. На второе утро он открыл глаза сам, сел на скамье, огляделся и сказал, что чувствует себя почти как прежде. Я видела, как он говорит это — с лёгкой усмешкой, с тенью прежней уверенности, — и как в его глазах появляется что-то, похожее на благодарность. Не за спасение. А за то,

что его не торопили. Не суетились. Не превращали в немощного. Ивар осмотрел его ещё раз, кивнул и разрешил встать, но не выходить на улицу и не напрягаться. Герцог усмехнулся и ответил:

— Я не привык лежать. Но спорить не буду. Вы — лекарь. Вам виднее.

Он оделся, сел к столу и позавтракал с нами — кашей, хлебом, сыром, чаем. Я смотрела, как он ест, и видела, что он делает это не так, как в первый раз. Не как человек, который выживает. А как человек, который живёт. Он держал ложку уверенно, отламывал хлеб ровными кусками, подносил ко рту не спеша, и я видела, что ему нравится. Не потому, что еда была изысканной. А потому, что она была простой. Настоящей. Тёплой. Ел он аккуратно, как едят люди, которых учили этикету с детства, но без жеманства, и я видела, что ему нравится простая еда, что он давно не ел такой и что она напоминает ему что-то из детства. Может быть, дом. Может быть, мать. Может быть, время, когда титул не давил на плечи. Я смотрела на него и думала: он герцог. Но он человек. И в этом — всё.

После завтрака он попросил бумагу, перо и воск. Гуннар принёс ему всё из своей папки, и герцог сел писать письмо. Он писал долго, тщательно, ровным, красивым почерком, и я видела, что он не просто пишет, а думает — взвешивает каждое слово, как будто от этого письма зависит многое. Я смотрела на его руку, на перо, на бумагу, на то, как он оста-

навливается, как смотрит в окно, как снова начинает писать, и думала: вот оно. Вот она, власть. Не в титуле. Не в земле. Не в золоте. А в слове. В письме. В печати. В том, что одно слово, написанное здесь, за этим столом, может изменить чью-то жизнь. Может быть, нашу. Может быть, его. Может быть, всех. Потом он свернул лист, запечатал его воском, приложил к печати свой перстень — тёмный камень в серебряной оправе, с гербом, — и вышел на крыльцо. Я смотрела ему вслед — на его спину, прямую, на его шаг, уверенный, — и думала: он вернулся. Не только к жизни. К себе. И теперь он сделает то, что должен. То, что считает нужным. И я не знала, что это будет. Но я знала: это будет — важно.

Магический вестник появился почти сразу. Он был не такой, как тот, что приносил налог: не серый и тощий, а крупный, тёмный, с длинными крыльями и умными глазами. Я смотрела, как он садится на перила крыльца — легко, уверенно, — и как его когти оставляют на дереве тонкие царапины. Он был красив той тёмной, древней красотой, которая не нуждается в украшениях. Герцог привязал письмо к его лапке, что-то шепнул, и вестник взмыл в небо, исчез в сером зимнем сумраке. Я смотрела ему вслед, пока он не растворился в низких облаках, и думала: вот оно. Вот она, магия. Не та, что в книгах, не та, что в сказках, а та, что рядом. В птице, в письме, в слове. Герцог постоял на крыльце, глядя вслед, потом вернулся в дом и сказал:

— Они придут сегодня. Порталом. Как только получат

письмо. Мои сыновья. Они умеют открывать порталы. Они знают, куда идти. Они придут.

Я спросила, сколько у него сыновей. Он ответил:

— Двое. Старший — Ренар. Младший — Этьен. Оба взрослые. Оба драконы. Оба — моя гордость и моя головная боль. Они придут. Они заберут меня. Но я вернусь. Я уже говорил.

Я кивнула. Я не знала, что сказать. Я просто смотрела на него и думала: сыновья. Драконы. Взрослые. Они придут сюда. В наш дом. Увидят нашу усадьбу, наш сад, наших людей. Увидят меня. И я почувствовала, как внутри поднимается что-то — не страх, не тревога, а что-то похожее на любопытство. Какие они? Как они смотрят на мир? Как они смотрят на таких, как мы? Я не знала. Но хотела узнать.

Он пробыл с нами ещё несколько часов. Он ходил по дому, смотрел на всё — на печку, на стол, на полки, на людей. Я видела, как он останавливается, как трогает руками дерево, как проводит пальцами по стенам, как заглядывает в кладовые. Он разговаривал с Мартой о счёте, и я слышала, как она отвечает ему — коротко, точно, без подобострастия, — и как он кивает, и как в его глазах появляется что-то, похожее на уважение. С Гуннаром он говорил о бумагах, и я видела, как Гуннар достаёт свои папки, как раскладывает листы, как объясняет что-то, и как герцог слушает — внимательно, не перебивая. С Иваром он говорил о лечении, и я слышала, как Ивар объясняет что-то про травы, про компрессы, про

то, как надо растирать, и как герцог задаёт вопросы — точные, умные. С Сальмой он говорил о книгах, и я видела, как она оживает, как её глаза загораются, как она рассказывает ему о хронике, об Ольтовых, о саде, и как он слушает её — не как ребёнка, не как женщину, а как равную. Он увидел фигурный мармелад и попробовал его, и я видела, как в его глазах загорелось что-то — не жадность, а интерес. Он увидел флигель и кивнул. Он увидел коровник, курятник, сеновал, кузню, свинарник и сказал:

— Вы построили всё это за год. За один год. Я видел имения, которые строили десятилетиями. Вы не просто хозяйка. Вы — правитель. Настоящий.

Я ответила:

— Я не правитель. Я — работник. Просто я не одна. Нас двадцать. И все — свои.

Он посмотрел на меня долго. Я видела, как его глаза сужаются, как он смотрит не на меня, а сквозь меня, вглубь, туда, где были мои руки, мои ночи, мои страхи, моя надежда. Потом сказал:

— Двадцать своих — это больше, чем тысяча чужих. Я это знаю.

Он замолчал. Потом добавил:

— Я вернусь. С сыновьями. С дарами. С предложениями. Я не забуду. Драконы не забывают.

Я кивнула. И в этом кивке было всё: и благодарность, и надежда, и что-то ещё, чему я не знала названия. Что-то, что

говорило: приходи. Мы будем ждать. Не потому, что ты герцог. А потому, что ты — человек. Который был на краю. И вернулся. И не забыл.

Его сыновья пришли порталом — в тот же день, к вечеру. Сначала в воздухе над двором что-то дрогнуло, как будто задрожало, потом появилась светящаяся арка, и из неё вышли двое. Я стояла на крыльце и смотрела, как воздух сначала сгущается, как будто в нём открывается невидимая дверь, как свет становится плотным, почти осязаемым, и как в этом свете проступают две фигуры. Высокие, широкоплечие, в дорогих плащах, с такими же серыми глазами, как у отца, и с той же прямой осанкой. Старший, Ренар, был темноволосый, с короткой бородой, с лицом суровым и спокойным. Младший, Этьен, был светлее, с улыбкой, которая пряталась в уголках губ, и с глазами, которые смотрели на всё сразу — на дом, на двор, на людей, на меня. Они увидели отца, стоящего на крыльце, и лица у них изменились — сначала тревога, потом облегчение, потом что-то похожее на злость. Я видела, как они смотрят на него — на его бледное лицо, на его руки, которые ещё не совсем слушались, на его фигуру, которая была слишком худой для человека, который недавно был на краю. И я видела, как в их глазах что-то сжимается — не страх, не гнев, а что-то более глубокое. Что-то, что бывает у сыновей, которые чуть не потеряли отца.

Ренар подошёл первым и произнёс:

— Отец. Мы обыскались. Мы думали, ты погиб. Порталы

нестабильны, мы говорили тебе. Мы говорили, не ходи один. Мы говорили, подожди.

Герцог улыбнулся и ответил:

— Я жив благодаря этой женщине и её людям. Благодаря этому дому. Вы должны поблагодарить её. Вы должны запомнить её. Потому что она спасла мне жизнь.

Ренар и Этьен посмотрели на меня. Долго. Внимательно. Как смотрят на того, кого надо оценить. Я видела, как их глаза скользят по моему лицу, по моему платью, по моим рукам, по всему, что было вокруг. И я стояла и смотрела на них в ответ — не отводя глаз, не опуская головы. Потому что я не сделала ничего, чего стоило бы стыдиться. Потом Ренар наклонил голову — коротко, сдержанно, но с уважением. А Этьен улыбнулся и сказал:

— Мадам. Вы спасли нашего отца. Мы этого не забудем. Никогда. Что бы вы ни попросили — мы сделаем. Что бы вы ни захотели — мы поможем. Мы — драконы. Мы держим слово.

Я ответила:

— Я ничего не прошу. Я просто сделала то, что должна была сделать. Любой на моём месте сделал бы то же самое.

Этьен покачал головой и возразил:

— Не любой. Мы знаем людей. Мы знаем, как они поступают. Вы — не любой. Вы — та, кто открывает дверь. Мы это запомним. И мы вернёмся. С дарами. С предложениями. Со всем, что нужно. Потому что вы — та, с кем мы хотим

говорить.

Я смотрела на него и видела, что он говорит искренне. Не потому, что так принято. Не потому, что надо отблагодарить. А потому, что он действительно так думает. И я подумала: вот они, драконы. Не те, что в сказках. Не те, что жгут города. А те, что стоят на моём крыльце и говорят со мной как с равной. И в этом было что-то, что согревало больше, чем печка. Они забрали отца. Портальная арка вспыхнула снова, и они ушли — все трое, — и двор опустел. Я стояла и смотрела, как свет гаснет, как воздух снова становится обычным, как снег ложится на то место, где только что была арка. И я думала: вот и всё. Они ушли. Но что-то осталось. Что-то, что не исчезло вместе с порталом. Что-то, что останется в доме, в стенах, в памяти. Обещание. Настоящее. Драконье. И я знала: они вернутся. Потому что драконы не забывают. Потому что драконы держат слово.

Глава 4

Следующие дни после отъезда герцога и его сыновей прошли тихо и размеренно, как проходят дни в разгар зимы, когда метели уже отбушевали, но оттепель ещё не пришла, и весь мир стоит белый, холодный и неподвижный. Я просыпалась рано, ещё до света, и лежала минуту в тепле, слушая, как дом дышит вокруг меня: как потрескивает остывающая печка, как скрипит половица под чьим-то осторожным шагом, как за окном тихо, глухо, будто мир затаился. Потом вставала, накидывала шаль, шла по холодному коридору, и половицы были ледяные под босыми ногами, и дыхание выходило облачком, и я знала: сейчас растоплю печку, и всё снова станет живым. Мы занимались хозяйством, потому что хозяйство не ждёт, потому что скот надо кормить каждый день, потому что печки надо топить каждое утро, потому что еду надо готовить к каждому столу, и потому что продукцию на продажу надо делать заранее, чтобы к появлению купцов всё было готово. Купцы должны были вернуться через две недели после метели, а может, и раньше, если дороги откроются, и мы не хотели, чтобы они застали нас врасплох. Я видела, как все работают — не по принуждению, не из страха, а потому что понимают: это наше. Общее. И каждый делает своё, и из этого складывается что-то большое, целое, живое.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.